*А. К. Секацкий**

ТЕЛО ГОРОДА, ЕГО ДУША И ЕГО ТЕНЬ

Аннотация: В статье город рассматривается как произведение объективного духа, имеющее статус, близкий к статусу субъекта. Обычно город предстает в качестве отдельных проекций: архитектурной, исторической, инженерной, личной, — в тексте ставится задача совмещения этих проекций. Именно попытка совмещения позволяет выделить такие реальности, как миф города, его душа и его тело, и даже тень города, указывающая на самостоятельный рельеф многомерного феномена. Непосредственным предметом исследования является Санкт-Петербург, но некоторые выводы могут относиться и к метафизике города в целом.

Ключевые слова: Метафизика города, миф, Санкт-Петербург, Dasein, театр, уличное искусство, проекция.

A. K. Sekatskiy

THE BODY OF THE CITY, ITS SOUL AND ITS SHADOW

Annotation: In the article, the city is considered as a product of the objective spirit, which has a status close to the status of the subject. Usually the city appears as separate projections: architectural, historical, engineering, personal-the text sets the task of combining these projections. This attempt to combine allows us to distinguish such realities as the myth of the city, its soul and body, and even the shadow of the city, indicating an independent relief of a multidimensional phenomenon. The direct subject of the study is Saint Petersburg, but some conclusions may apply to the metaphysics of the city as a whole.

Key words: Metaphysics of a city, myth, Saint Petersburg, Dasein, theater, street art, projection.

* *Секацкий Александр Куприянович* — кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет аэрокосмического приборостроения.

1

Для начала нужно заново, но так, словно бы это в первый раз, задаться вопросом: должен ли настоящий город иметь собственный миф и собственную внутреннюю природу, которую уместно назвать телом города? Ответ можно получить, суммируя изречения различных оракулов и размышляя над притчами, и, учитывая неизбежный в таких случаях перебор пафоса, ответ окажется примерно таким: если у города не будет тела, он повиснет в воздухе и будет висеть неопределенное время. Этим город предохранит себя от разрушения-стирания, но само собой понятно, что предохранит и от жизни… Подобные города существуют, — это, например, Китеж и Шамбала. Но вряд ли кто может сказать, что именно там прошло его счастливое детство, хотя насчет смерти и посмертия вопрос более тонкий…

Если у города не будет мифа, он останется словно бы вросшим в землю, но рано или поздно его отзовут с лица земли. Вопрос *«куда отзовут?»* остается открытым — не обязательно в небытие; возможно, отзовут в вечное захолустье, если вообще допустимо употреблять эпитет «вечное» в таком контексте. При этом душа города останется смутной тенью, как коллективная проекция присутствия одушевленных смертных; самостоятельная душа же не проявится и не проявит себя, поскольку одухотворение происходит лишь при непременном участии мифа и тела. Но если самостоятельная душа города обретена, то это вовсе не обязательно должно отзываться какой-нибудь особенной привилегированностью горожан, скажем, удивительной чистосердечностью или повышенным вниманием к гостям города, — да хотя бы и друг к другу. Душа города есть, прежде всего, уникальная монограмма его бытия во времени, она сохраняет неповторимость города как произведения духа (объективного духа в гегелевском смысле) и обеспечивает трансляцию этой неповторимости через череду поколений.

Что же касается приветливости и отзывчивости, то это уж как сложится: характер города редко бывает схож с нравом ласковой кошечки, и когда, например, говорят «добрая душа», то подразумевается и иная возможность — не то чтобы непременно *злая душа*, но, скажем, душа суровая, разборчивая, отнюдь не готовая открыться первому встречному.

Вот, допустим, Санкт-Петербург — город, имеющий все трансцендентные расширения, среди которых наиболее проблемным является как раз

наличие тела. О нем уж точно не скажешь «душа нараспашку», это едва ли ни самый антифамильярный город на свете, не терпящий никакого похлопывания по плечу, никакого панибратства, — и при этом удивительно лояльно относящийся ко всем классам существ: к рассеянным профессорам; к студентам, вечно опаздывающим на лекции; к девушкам, идущим на свидания и свидания ждущим; к юродивым; к подпоручикам (подпоручики же!), причем имеются в виду не только живущие, но и жившие здесь в соответствии с его, города, душой. А также призраки самой разной степени призрачности и остаточной воплощенности: писатели, вообще литераторы, литературные персонажи, — все они сохранены в истории душой-хранительницей этого города.

Но о дешевой приветливости, разумеется, речь не идет. Я не знаю, каково посмертие тех сотен тысяч людей, что погибли в блокаду, но и их участь показала, что в Петербурге расположен последний действующий жертвенник планеты, он же — реактор по производству души. Сейчас он похож на потухший вулкан, очертания его кратера иногда светятся по ночам…

2

Имеющийся в социологии и в европейской метафизике опыт идентификации города не то чтобы не полон, он отличается еще и прерывистостью, пунктирностью, когда тропа понимания, постижения города начинается неожиданно, в непредсказуемом месте, и так же неожиданно обрывается, — в итоге даже в самых кропотливых исследованиях мы имеем дело с принципиальной *несведенностью проекций*. От солидного социологического очерка Макса Вебера «Город»[1] до «пассажей» Вальтера Беньямина и дерзкого паркура Ги Дебора[2]. Сопоставляя картинки, мы так и не обнаруживаем, каким же образом они должны прикрепляться друг к другу. Даже «вид сверху» распадается на автономные виды, не готовые узнать друг друга, — что уж говорить о наборе «видов» или мгновенных снимков, сделанных изнутри!

В результате некоторые фиксации как бы просто не принимаются во внимание из-за неясности их топологических характеристик. В энциклопедиях обычно пишут, что «город — это крупный населенный пункт, в существовании которого сельское хозяйство не играет решающей роли», но не упоминается, кем же этот населенный пункт населен. Если нам наивно ответят: ну, конечно же, людьми, мы вправе задать каверзный вопрос: а какими людьми, живыми

или мертвыми? И, не дождавшись ответа, приведем в пример города Древнего Египта, которые как раз и были преимущественно городами мертвых, тогда как живущее поколение выступало в них в роли своеобразного обслуживающего персонала… А города Аккада, где главные, собственно городские, кварталы (зиккураты) принадлежали богам, и куда смертные, за исключением жрецов, вообще не имели доступа в обычные дни[3]? А кому принадлежал греческий город Дельфы? А Мачу-Пикчу древних инков?

Уже из этого беглого обзора следует, что Город есть населенный пункт, который населен не только живыми, живущими здесь и сейчас, и не только смертными. Ну а роль промышленного центра? Тут можно ответить: есть такая опция у города, но она, во-первых, не является непременной, во-вторых, она однажды возникла, закрепилась на несколько столетий как характерная черта капиталистического города, и уже в пост-индустриальную эпоху вновь начала потихоньку улетучиваться: сейчас мы вполне можем заподозрить, что город в качестве промышленного центра на наших глазах становится архаизмом. Так что вопрос «для кого город?» неожиданно оказывается не самым простым, а напрашивающийся ответ «ну конечно же для нас, для горожан» требует некоторой паузы. Вот один мой знакомый, живущий в Киеве, как-то заметил, что население города состоит «из киевлян и самозванцев», хотя и те, и другие в равной мере считают себя горожанами. Санкт-Петербургу подобное разделение очень даже хорошо знакомо, хотя наш город обладает полнотой присутствия во всех измерениях, среди прочего он был и крепостью (и не раз на протяжении своей истории), и промышленным центром, в советские времена крупнейшим в Европе.

И, разумеется, городом мертвых, духов и призраков, — таковым он является и сейчас, демонстрируя уникальный исторический симбиоз ушедших и ныне живущих поколений. Этот симбиоз стоит подробнее исследовать, но сразу можно указать на привилегированное положение *избранных мертвых*, — именно они суть городские патриции. У них есть достойные квартиры, — кажется, последним улучшил свои жилищные условия Иосиф Бродский, его коммуналка на Литейном была, наконец, выкуплена, и теперь никто не будет по пустякам тревожить посмертие одного из заслуженных мертвых Санкт-Петербурга. А библиотеки, музеи, где мертвые беседуют с живущими единственно возможным для тех и других способом? А петербургские памятники?

Теперь бросим взгляд на другие, динамические проекции, на которые обратили наше внимание Беньямин, Вирильо, Ги Дебор и, конечно же, писатели и поэты XX столетия. Вот прогулка по Парижу, прекрасная своей бесцельностью. И двести лет назад, и сейчас спешащие на работу парижане были уверены, что маргинальный штрих — всего лишь едва значимая складочка на теле города. Они знали, что жить в городе, будь он хоть трижды Парижем, — значит ходить на работу и в магазин, обеспечивать круговорот денег, социальных, да и просто биологических тел. Ну а маргиналы, что с них взять: пусть себе фланируют, если не мешают. Мы — парижане, и мы — Париж, а они — сбоку припека… Как бы не так — показывает Вальтер Беньямин, демонстрируя, как фланеры своими беспечными, бесцельными прогулками вычерчивают контуры эйдоса Парижа, и именно благодаря им эти спешащие на работу городские жители становятся и остаются парижанами. Фланеры работают как самописцы, внося запись если и не прямо, и не сразу в текст мифа города, то, во всяком случае, в его текущую интерпретацию[4]. Они, следовательно, — самописцы трансперсональной городской души, и не только они, разумеется. Это и уличные художники — не те, что продают картинки на прикормленных местах, а те, о которых пишет Ги Дебор, — осуществляющие бытие-поперек и бытие-вопреки: граффитисты, руферы, актеры уличных театров и множество других особых обитателей города[5]. В случае Питера, например, это еще и городские сумасшедшие, и одинокие сталкеры, чей город воплощен в самой необычной проекции и может быть передан только в дар — по дружбе или по случаю. Однако каким образом эти проекции причастны к монаде Города, к его полномасштабной воплощенной реальности, остается неясным: проблема совмещения проекций так и остается решающей.

3

Вопрос «что есть тело города?» на первый взгляд представляется не таким уж и сложным: куда же еще отнести архитектуру и городские коммуникации, предприятия общественного питания, рынки… Вспомним, что центральный рынок французской столицы на протяжении нескольких столетий так и назывался — *чрево Парижа* (тут можно вспомнить и одноименный роман Эмиля Золя). В Петербурге до недавнего времени существовало свое чрево — Апрашка. Тут, однако, надо быть осторожным, чтобы не перепутать это самое

чрево как часть городской телесности с продуктами конечного метаболизма, которые из него исходят. Что же касается архитектуры, то она в той же мере относится и к душе, и, кроме того, выступает ретранслятором мифа Города для живущих в нем горожан. Далее, каков в этом отношении статус городской рекламы: является ли она составляющей городского тела, чем-то вроде одежды или своеобразной эпидемической маской, которую, согласно предписанию, города носят уже более столетия, время от времени ее обновляя?

Чтобы хоть отчасти разобраться с этим и рядом других затруднений, необходимо осмыслить важный метафизический тезис: обладать телом можно только обладая душой. Обратимся к классическому примеру, чтобы не множить сущности без нужды: огурец не имеет души, а, значит, у огурца нет и тела. Можно, в принципе, сказать, что он сам есть «плодовое тело» одноименного растения, но это ничего не изменит в нашей констатации: то, что не имеет души, лишено и тела. Таков и критерий одушевленности, наличие этого необходимого, хотя и недостаточного условия. Мы можем вслед за Аароном Коплендом использовать выражение *тело музыки*, понимая под этим музыку в ее полной воплощенности, ее инструментальную трактовку и даже сами инструменты, находящиеся в полной настроенности[6]. Тело музыки соприкасается с телом земли, а ее душа парит в небе.

И если мы теперь будем отталкиваться от привычной уже метафоры «архитектура есть застывшая музыка», мы признаем факт одушевленности города, что вновь побудит нас задать вопрос: каково же его тело? И поскольку затруднения все еще остаются, зайдем с другой стороны и спросим себя: а какова природа города? Заметим, — не природа в городе, не клумбы и бульварчики, как бы пойманные в загон (и не очень отличающиеся от зоопарков), а природа *самого* города, в соответствии с критерием Аристотеля, понимавшего природу (фюзис) как то, что обнаруживается путем рождения и порождения (генезиса), в отличие от искусства (техне), где торжествует штучное изготовление — поэзис. В применении к городу и его внутренней природе следует опираться как раз на момент самопроизвольности, и стоит именно в этом ключе присмотреться к местам обитания городских аборигенов или, лучше сказать, автохтонов.

Вот перед нами сквот, заброшенная стройка, оставленная без присмотра «зона», — вроде той, на которой происходил «Пикник на обочине» братьев Стругацких, и куда сегодня ходят на разведку, на прогулку и на охоту

собственные сталкеры. Таких мест (территорий) в современном городе достаточно — но что мы здесь видим? Ну, конечно, улицы или их фрагменты, тупики, какие-то здания, клумбы и даже деревья вполне могут быть и не представлены на этих территориях. Но зато на земле или на покрывающем ее вздыбленном асфальте мы находим словно бы вывороченные ураганом бетонные блоки, ржавые педали, покореженные автомобили, стены, покрытые трещинами и граффити, авторы которых принципиально неизвестны, причины появления — тоже. Что это? Подходя с позиций Аристотеля, можно как раз сказать, что это — уголок природы нового типа, поскольку он, во-первых, возник в результате генезиса, а во-вторых, включен в живую часть города. Тут следует согласиться с принципами киберпанка, согласно которым ржавая педаль подлиннее ухоженной клумбы, которая для города искусственна, как птица в клетке.

Что касается граффити, то в своем глубинном анонимном слое они, конечно, несут в себе спонтанность природы, они проступают на стенах, как мох на стволах деревьев в лесу, как настенные татуировки. Вот что писал Бодрийяр в своей знаменитой книге «Символический обмен и смерть», писал еще лет 40 назад:

> В этом состоит настоящая сила символического ритуала, и в этом смысле граффити идет наперекор всем рекламно-медиатическим знакам, которые заполняют стены наших городов и могут создать обманчивое впечатление таких же заклинаний. Рекламу соотносили с праздником: без нее городская среда была бы унылой. Но на самом деле она представляет собой лишь холодную оживленность, симулякр призывности и теплоты, она никому не подает знака, не может быть подхвачена автономным или коллективным прочтением, не создает символической сети[7].

Так писал тогда Бодрийяр, и сейчас мы добавили бы, что реклама — это типичное загрязнение окружающей среды, осквернение природы города: она перекрывает самопрезентацию города в единстве его тела и души. И тут граффити выступает как своеобразный антисептик, предотвращающий последствия интоксикации: уличные художники-граффитисты перечеркивают как могут очаги рекламных вирусов, отводят глаза горожан от источников этой визуальной интоксикации. Они — своеобразные экологи, защитники городской, урбанистической природы. Можно также сказать, что граффити

вырастают, как цветы после дождя, и этим они отличаются от традиционных произведений искусства, создаваемых посредством поэзиса. Однако телом города можно считать лишь то, что носит его неповторимые топологические черты, в противном случае такие термины, как телесность и новая природа, будут излишними. Не всякая мерзость запустения достойна имени «природа».

И все же самопроизвольность, спонтанность, способность существовать и развиваться без присмотра — это то, что подобает внешнему телу человека, если оно — тело. В случае тела города мы имеем дело как минимум с двойным причинением: с одной стороны, перед нами внешнее тело социума, а с другой — собственная автономная реальность города, подотчетная лишь его душе. Между этими двумя версиями телесности, совмещенными в одном пространстве, отношения могут быть очень даже непростыми, и каждый из жителей одушевленного города испытывает так или иначе конфликт двойной причастности, некое балансирование между полюсами. Моя хата с краю или мой город в центре мира? В более актуальном ключе это вопрос доминирования позиции: ждем ли мы от города, в первую очередь, чтобы он был удобным, комфортным для горожан (а кто же этого не ждет?), или готовы прежде всего хранить верность истории города, его душе и даже его телу, имеющему органы двойного назначения? Дело здесь обстоит так же, как и в случае человеческого органического тела, где сердце — это мышца, обеспечивающая циркуляцию крови, но кроме того его работа подключена к строю аффектов и эмоций: неожиданное предательство может отразиться на работе сердца так же, как и закупорка сосудов.

4

Важнейшей чертой Петербурга является безусловный приоритет символического, которому подчинены силовые линии поведения и даже самоощущения, идущие как раз со стороны трансцендентных начал. Примером тому — вся трехсотлетняя история Петербурга, начиная от самой идеи Петра, согласно которой город должен быть развернут навстречу морю, реке, небу и свободно скользящему взгляду, навстречу тем, кто будет смотреть из будущего или, быть может, непосредственно из потустороннего, навстречу богам, духам и избранным мертвым, существующим пока в статусе призраков.

Он, наш город, и сейчас так развернут, по-прежнему его дворы и прикрытые фасадами территории безнадзорны, а интерьеры обживаемых квартир

тяготеют к обстановке Родиона Раскольникова. В случае Петербурга речь, пожалуй, идет не просто о приоритете символического, но и том, что во имя символического с завидной регулярностью возводились жертвенники и символическое тело города защищалось душами живущих с большей непреложностью, чем собственные физические тела. Этому городу предвещали *быть пусту*, и он время от времени приближался к кромке опустошения. Но «быть пусту» и быть захваченным врагом — разные вещи, и, кажется, град сей скорее готов уйти под воду, как град Китеж, погрузиться под лед Невы, чем допустить надругательство над своей душой — иноземное владычество.

Поэтому Санкт-Петербург есть вечная столица незримой империи, тогда как при наличии зримой империи Российской, как бы она при этом не именовалось, город может и отойти в тень. Перед нами вырисовывается реальность, обладающая не просто самостоятельной гравитацией, — ею в той или иной мере обладают все вещи человеческого мира, — но и собственной волей, порой непреклонной. Как там, в стихах Беллы Ахмадулиной, в песенке Евгения Крылатова:

Я этим городом храним, но провиниться перед ним
Не дай мне бог, не дай мне бог вовеки…

Идеи, овладевая массами, становятся великой силой, — как гласил один из любимых советских девизов. Безусловно, великой силой могут быть и трансперсональные души, одухотворенные сущности-существа, которые Гегель рассматривал в качестве произведений абсолютного духа. Среди этих полномасштабных явлений действительности, внутри которых присутствует пульсация духа или, как говорил тот же Гегель, живая жизнь понятия, а снаружи — некая фиксированная форма, мы видим государство, гражданское общество (Gesellschaft), нравственность, право и правовые институты. Но мы не встречаем у Гегеля *города* как соприродной им сущности, как одушевленной идеи, которая обрела жизнь и тело и продолжает далее сама себя осуществлять. Город все еще остается нераспознанным в этой удивительной роли осуществленной и осуществляющейся идеи, когда он становится как бы самоисполняющимся пророчеством. Но стоит задуматься, и мы находим этому множество подтверждений, ибо город есть именно такое сущее, и среди других произведений духа или трансперсональных матриц, воплощающих в том числе и формы коллективного самочувствия, городу принадлежит едва ли не решающая роль.

Если не придираться к выражению «местечковый патриотизм» (ведь этот патриотизм отнюдь не заслуживает придирок), то придется признать, что речь идет о чем-то вполне житейском и обыденном, и даже о слишком человеческом в трактовке Ницше. По сути, лишь современная социальная инженерия работает над устранением подобной топографической привязки (как и вообще исторического измерения) из сферы достоверности личностного присутствия. Тем не менее, пока архетип малой родины присутствует в коллективном бессознательном даже европейского человечества. Граница между теми рубежами, где кончается малая родина и начинаюсь я сам, размыта. В случае же города, обладающего собственным мифом, душой и тенью, дело обстоит еще более радикально: в этом случае Dasein включает в себя измерения, явно не учтенные Хайдеггером, который, при всех его претензиях на метафизическую предельность, оставался, если можно так выразиться, певцом «сельского Dasein», экзистенциалы которого определялись проселочными тропками-дорожками Шварцвальда. Если же бытие в мире дано и задано как бытие-в-городе, это меняет структуру человеческого самоопределения: от греческого полиса и до современного, укорененного в мифе, в истории и в земле города, мы обнаруживаем мощные силовые поля, транслирующие реальность человеческого в человеке. Городские бульвары и площади взамен лесных тропок и проселочных дорог, общение с мертвыми во всех возможных диапазонах, созерцание разнообразия альтернативной урбанистической природы, опора на огромное внешнее тело, которое, тем не менее, оказывается вполне по плечу и даже является интимно-своим — все это весьма существенные поправки в набор экзистенциалов.

Бытие к смерти (Sein zum Tode) как нечто осознаваемое не получает надлежащего времени для своего освоения, набор городских скоростей явно не совпадает с диапазоном этого важнейшего модуса бытия. То бытие к смерти, на которое обречен Dasein Хайдеггера, актуализуется лишь на некотором отдалении от пульсирующего тела города, например, в деревне, в путешествии, в плавании, в изгнании — или в коконе классической метафизики. Внутри гравитационного поля города смерть представлена иначе, ведь здесь у мертвых есть свои неотчуждаемые права, как это уже отмечалось, — право на памятники, на посмертную жилплощадь, которая далеко не всегда была пожизненной, эксклюзивные права на топонимику (улицы и площади в честь живых не называют, мертвые такого не простят), есть, наконец, право на свой

посмертный нрав. Когда я специально расспрашивал на этот счет петербуржцев, несколько человек признали, что Белинский в своем посмертном городском представительстве в значительной степени утратил свою неистовость, а вот Гоголь, наоборот, стал несколько суровее. Зато Крылов… но тут нужна особая транс-витальная сенсорика, с которой так точно и тонко работает писатель Сергей Носов[8].

Так что бытие-к-смерти для «городского Dasein», несомненно, отличается от того, что имел в виду Хайдеггер, — не только бытие-к-смерти, но и экзистенциальная забота (Sorge) устроена иначе: в городских условия ее спектральные линии смазаны и большинство из них пунктирны, прерывисты. Все это можно было бы списать на суету, однако здесь есть и своя собственная подлинность, как своя неподдельность есть у городской природы.

Далее. Бытие-вопреки, осуществляемое или, лучше сказать, практикуемое городскими художниками, руферами, паркурщиками, представителями множества субкультур, возникающими тут и там и быстро исчезающими, как и подобает в случае тела-без-органов, для городского Dasein есть самостоятельный экзистенциал, — даже если это бытие осуществляется не тобой лично. Город, обладающий мифом, душой и телом, непременно имеет свою карту странности, и его маленькие тайны, тщательно хранимые и уж точно не афишируемые, напоминают фрейдовские фиксации или *первичные сцены*, которые ответственны за общую невротичность, за комплексы и фобии, но они же ответственны и за уникальный узор, паттерн индивидуальности. В случае города такой узор можно назвать экзистенциальной монограммой.

5

Сюда, возможно, относится незабываемое посещение, которого я удостоился лет 15 назад. Мой друг-художник повел меня в гости к своему знакомому, который жил в самом центре, на Моховой — правда, в третьем дворе, и квартира его располагалась на третьем этаже семиэтажного дома. Обычная питерская коммуналка, где знакомому моего друга принадлежали две комнаты, одна из них угловая. Но тут обычное кончается. В угловой комнате было окно, выходящее в еще один внутренний двор, скорее, дворик. В этот дворик никаких окон больше не выходило, и никакого иного входа в него тоже не было. Кроме единственного окна, двор окружали только замурованные стены разной

высоты, и первым впечатлением от выглядывания в окно был вопрос: сколько же десятилетий (а может и столетие!) сюда не ступала нога человека? Но не совсем так: из окна вниз вела легкая самодельная лесенка, которой хозяин квартиры пользовался для спуска вниз. Там он отмечал свои дни рождения, имели право доступа туда и избранные гости. Девственная земля была сплошь покрыта сухими листьями, птичьими перьями, скелетами и тушками голубей: «Любые артефакты могут попасть туда только с неба», — сказал хозяин комнаты, и добавил, что имеется два десятка артефактов, которые он, быть может, покажет в следующий раз. Увы, следующего раза не случилось.

Тут можно вспомнить и такое явление, как Волшебный Лес. В нем где-то водятся русалки (говорят, некоторые их видели), да и избушка на курьих ножках где-то в дремучем лесу стоит. Так ли это на самом деле, никто не знает, однако *волшебный лес* — это лишь уточненное определение любого настоящего леса, отличающее его от «лесопосадок» и массивов зеленых насаждений. Город, обладающий душой и телом, конечно же, содержит в себе Волшебный Лес, который раскинулся в тени города, а отбрасываемая вовнутрь тень есть свидетельство многомерности бытия. Урбанистическая схема не отбрасывает самостоятельной тени и не создает никакой причастности к ней Dasein. Она обеспечивает, если уж прибегать к терминологии Хайдеггера, только анонимное das Man-присутствие[9], и такое анонимное поле генерирует всякий крупный город, любая абстрактная городская среда. Как раз наличие у города души и тела позволяет выйти из фоновой анонимности, обрести новые модусы бытия, недоступные для одиноких органических тел и даже для совокупности таких тел, связанных естественными или просто рутинными связями.

6

А что театр? В интересующем нас аспекте живущий собственной многоцветной жизнью город — это и есть магический театр Германа Гессе[10]. Это значит, что помимо собственно театральных сцен, академических и не очень академических, волны театральности пронизывают все тело города, сценическое пространство проецируется в повседневность, незаметно преобразуя ее. Тут следует отметить, что так называемые «социальные роли», например, роль пассажира, покупателя, клиента, по сути своей анти-театральны, они суть

стереотипы, пресекающие всякий внутренний артистизм. Излучение театральности не доходит сюда напрямую. Кстати, уместно отметить важную вещь. Мир, в котором есть сцена, — даже если на ней давно ничего не играют, но все знают, что это место, где дают представление, — такой мир принципиально отличается от миров, в которых никогда не видели сцены и не знают, для чего она нужна. Таково самое общее определение театра и театральности.

Возвращаясь теперь к горожанам, именно к петербуржцам, необходимо иметь в виду, что Петербург — это не просто часть мира, в котором есть сцена. Здесь существует своеобразное наложение полей театральности разной мощности, начиная от актуальных трансляций, от того, что *дают на театре* здесь, сегодня, сейчас и вплоть до действующих лиц Ледяного Дома, до литературных персонажей и призраков, — проходит излучение, обеспечивающее единство тела, мифа и души, и проходит оно сквозь среду ниспадающей театральности.

Стандартные социальные роли, как уже отмечалось, служат, скорее, препятствиями, изоляторами для не-утилитарных, высоковольтных восприятий: похоже, что пациенты всего мира — это, прежде всего, пациенты и только потом парижане или москвичи. Но вот такая социальная (или асоциальная) позиция, как *прохожий*, — совсем другое дело. Прохожий как бы на автопилоте осуществляет спектральный анализ событийности, и города планеты в значительной мере отличаются друг от друга как раз тем, что привлекает внимание простого прохожего. Что может хоть на время отвлечь от проблем личной жизни и общей фоновой усталости? Как там, у Цветаевой, в одной из версий:

Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Если учесть, что уровень восприимчивости (или невосприимчивости) визуальной рекламы примерно одинаков, то прохожий может обратить внимание на дорогую машину, на роскошную блондинку, на чью-нибудь странную улыбку, и по этому критерию отличить Стокгольм от Тбилиси — пара пустяков, а при некоторой наблюдательности можно даже отличить Стокгольм от Мельбурна.

Но петербургский прохожий… тут он нейтрален, это не его индикаторы. И странную улыбку можно увидеть на лице каждого третьего. Однако театр и даже предчувствие настоящего театра непременно привлекут внимание отстраненно шествующего питерского прохожего. Как-то редко вспоминают,

что Санкт-Петербург — это город великих театрализаций, не уступающих бразильским карнавалам, а кое в чем и превосходящих их. В каком-то смысле уже не раз упоминавшийся Ледяной Дом остается крупнейшим событием тотальной театрализации из тех, память о которых сохранила человеческая история (под знаком этого события как минимум год жила вся Российская империя). И традиция эта, исконно петербургская по своему духу, никуда не исчезла, хотя *исчезновение* в этом городе — понятие вообще двусмысленное. Говоря уже о XX веке, навскидку можно вспомнить «Бродячую собаку», петроградский ВХУТЕМАС, революционные парады-демонстрации на Дворцовой, которым все еще тихо завидуют организаторы современных хэппенингов и флэш-мобов. Ну и, наконец, АССА-культуру во главе с Курехиным и Тимуром Новиковым — все эти явления, при всей их разнородности, определялись именно тотальной театрализацией. И она, такая театрализация, — как живая вода для исторического тела Петербурга, склонного впадать в анабиоз, и порой надолго.

Вот и текущий анабиоз затянулся, но что-то подсказывает, что он близок к завершению. Разбудят ли пребывающее в дреме тело города очередные «Алые паруса» и водные феерии, удастся ли тайный заговор петербургских памятников, помогут ли совокупные усилия открытых театров и уличных художников, это сейчас трудно предугадать. Но пробужденный Петербург еще пошлет сигнал, и не один, в континуум мировой истории — не менее яркий, чем Октябрьская революция, но наверняка в ином направлении.

Примечания

[1] *Вебер М*. Избранное. Образ общества. М.; СПб., 2013. С. 323–460.

[2] См.: *Дебор Ги*. Общество спектакля. М., 1999.

[3] *Кривачек П.* Вавилон. Месопотамия и рождение цивилизации. MV-DCC до н. э. М., 2015.

[4] *Беньямин В.* Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004.

[5] См. подробнее: *Секацкий А*. Дезертиры с острова сокровищ. СПб.: Лимбус-пресс, 2017.

[6] *Copland A*. Music and Imagination. Cambridge: Harvard UP, 2006.

[7] *Бодрийяр Ж*. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 159.

[8] *Носов С.* Тайная жизнь петербургских памятников. СПб., 2008.

[9] *Хайдеггер М.* Бытие и время. М., 2000. С. 134–144.

[10] См.: «Степной волк» Германа Гессе.